

Tadeusz Sucharski
Akademia Pomorska w Słupsku

С «ПОЦЕЛУЯ НА МОРОЗЕ» ПО «ЧЕРВИВУЮ МЯКОТЬ КРЫМА».
ПОЛЬСКО-РОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ПОЛЬСКОЙ
ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ ПОСЛЕДНИХ 25 ЛЕТ

«Поцелуй на морозе» — эту цитату из стихотворения Велимира Хлебникова использовал Анджей Дравич в качестве заглавия своей книги — книги, с которой началась польская история посткоммунистической, свободной отечественной рефлексии над польско-российскими отношениями. Первое издание книги состоялось в 1989 году в Лондоне. В том же году работа Дравича вышла в польском самиздате и лишь через год стала легально доступной польскому читателю. А замыкает эту четверть века «червивая мякоть Крыма»¹ — цитата из стихотворения Игоря Белова *На независимость Украины* (являющегося, в сущности, ремейком одноименного стихотворения Иосифа Бродского), которую привел Лешек Шаруга в размышлениях о *российском комплексе Украины*. Дравич посредством первой из вышеупомянутых метафор пытался отобразить не столько свой собственный «русский» опыт и не столько польско-российские отношения периода коммунистического правления в Польше, сколько надежду на то, что удастся показать другой, человеческий облик России, открывшийся ему во время многочисленных регулярных поездок за Буг и связанных с ними встречах с друзьями-москвитами. Дравичу было важно показать Россию, спрятанную за «мрачным, испещренным царапинами фасадом империи»². В более широкой перспективе, в данной иносказательности увидеть некую всепольскую надежду на близкие и добросердечные отношения с Россией и русскими, которая в период распада послевоенного

¹ I. Bielów: *Na niepodległość Ukrainy*. Пер. L. Szaruga. Цит. по: L. Szaruga: *Dwa wiersze i jeden problem. Rosyjski kompleks ukraiński*. „Studio Opinii. Niezależny Portal Dziennikarski” <<http://studioopinii.pl/leszek-szaruga-dwa-wiersze-i-jeden-problem-rosyjski-kompleks-ukrainski/> (03.032015).

² A. Drawicz: *Pocałunek na mrozie*. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1990, с. 7.

миропорядка и европейской системы «народных демократий» имела, казалось, веские основания. Что касается второй из приведенных метафор, Белов с ее помощью высказал отношение к драматическим событиям 2014 года на Украине, к поведению русских, которые «проиграли битву, не выходя из летаргического сна»³, а также к имевшей место в опасной для поляков близости демонстрации великорусского империализма. В более общем смысле можно увидеть грустную констатацию факта расставания с надеждами, появившимися было в начале последней четверти века. Однако, несмотря на аллюзии, отсылающие к российской аннексии Крыма, к захватническим, хотя, по мнению поэта, в сущности своей капитулянтской позиции русских, в этой второй метафоре — что постулирует Шаруга — также следует видеть надежду. Ибо и Белов, и упомянутый ранее в эссе Дмитрий Быков, «принадлежат к гражданам иной России»⁴. И в первом, и во втором тексте появляется, несмотря на то, что минуло уже двадцать пять лет, «иная» Россия. Итак, признание этого сегодня, во времена, когда в Польше практически повсеместно ставится под сомнение факт существования гордых представителей «иной» России, является доказательством значительной жизнеспособности одного из важнейших течений в бесконечных польских размышлениях над Россией. И это вовсе не случайность, поскольку принцип *contra spem spero* проявляется во множестве польских публикаций, в которых поднимается совершенно очевидная для поляков т.н. проклятая проблема России — можно даже утверждать, что именно под эгидой этого принципа было написано большинство работ по тематике отношений с нашим могущественным соседом.

Следует, однако, отметить, что появление «иной России», популяризации которой в русистской парадигме способствовали работы Анджея Дравича, произошло значительно ранее. Уже в середине 1950-х годов писатели-эмигранты Юзеф Чапски и Густав Герлинг-Грудзински практически одновременно начали писать о «новой России», «иной России», которую увидели на «нечеловеческой земле» и которую описали в своих произведениях. Следует, однако, заметить определенную разницу в образах «иной России» у литераторов-эмигрантов и у Дравича. Анджей Дравич употребил определение «иная Россия» по отношению к тем россиянам, которые доказали лживость советской

³ I. Bielów: *Na niepodległość Ukrainy...*

⁴ L. Szaruga: *Rosyjski kompleks ukraiński*, выступление на конференции *Między rusofobią a rusofilią. Poglądy, postawy i realizacje w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku* в Гданском университете в сентябре 2014 г.

пропаганды, утверждавшей, «что Россия находится только на своей географически определенной территории, что нужно в ней быть любой ценой»⁵. «Иная Россия» Дравича в наиболее ранней версии — это литературная и культурная Россия в эмиграции. А Чапски и Герлинг эту «иную Россию» обнаружили в границах советского «инога мира», среди заключенных, узников лагерей и случайно встреченных изголодавшихся жителей империи. Лишь позднее, оставив «нечеловеческую землю», эти писатели сосредоточили свои поиски на литературе. Тем не менее, все акцентировали значение «созидания» России как духовной общности, опирающейся на альтернативных коммунистической идеологии ценностях.

К концепции вышеуказанных писателей обратился автор данной статьи в книге *Польские поиски «иной» России*⁶, посвященной представителям польской послевоенной эмигрантской литературы, которые прошли через весь спектр советского террора — жизнь в условиях оккупации, арест, длительное заключение, ссылка, лагерь, Колыма и, наконец, мучительное ожидание расстрела в камере смертников. Поляки — свидетели «концентрационной цивилизации», пройдя через все её круги и счастливо покинув «страну неволи», воссоздали пережитое в своих произведениях, показав принципы функционирования «тюремной цивилизации» — так сталинский режим назвала Надежда Мандельштам. Россия для поляков практически всегда была «иной». Мария Янион подчеркивает, что «п о л ь с к а я с а м о и д е н т и ф и к а ц и я обычно формируется под влиянием представления о России как о не совсем полноценном, но весьма небезопасном Ином»⁷. В данную категорию «инога» польские писатели старались включить непонимание мира, его ущербность, а прежде всего — враждебность, чуждость, страх. Автор данной статьи показывает, как польские писатели-эмигранты понимали «отличительность» России: для них «иная Россия» в советском «ином мире», бывшем миром «перевернутого Декалога»⁸, значила Россию возвращённого Декалога, близкую духовно, руководствующуюся подобными ценностями.

⁵ A. Drawicz: *Inna Rosja: genealogia rosyjskiej literatury emigracyjnej*. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza „Nowa” 2 1980, с. 31–32.

⁶ T. Sucharski: *Polskie poszukiwania „innej” Rosji. O nurcie rosyjskim w literaturze Drugiej Emigracji*. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2008.

⁷ M. Janion: *Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury*. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2007, с. 226–227.

⁸ B. Skarga: *Świadectwo „Innego Świata”*. В кн.: *Herling-Grudziński i krytycy. Antologia tekstów*. Wybór i oprac. Z. Kudelski. Lublin: Wydawnictwo UMCS 1997, с. 203.

* * *

«Я пробовал пробиться к хотя бы немного лучшему пониманию [России]. Или иначе: к несколько меньшему непониманию»⁹ — так завершал свою книгу Дравич в конце 1980-х, когда рассказы о «советском мире» в Польше, как говорится, «слушали, как о железном волке» «из-за его чуждости и экзотичности»¹⁰. Дравич с полным пониманием относился к такому положению вещей, подчеркивая, что в отечественных работах о России «действительность представленная к реальной российской действительности имела такое же отношение, как кулак к носу»¹¹. Можно утверждать, что с перспективы Дравича, несмотря на многочисленные обращения к теме русского тамиздата, совершенно исчезла чрезвычайно важная творческая «российская» рефлексия польской эмиграции. Автора *Поцелуй на морозе* принципиально интересовала советско-российская современность. Однако польско-российские отношения, участником которых Дравич был и о которых писал, в принципе, имели такой же характер, как и отношения между Гедройцем или Герлингом-Грудзинским и Максимовым или Некрасовым. Суть этих отношений сводилась к замечательной формуле Герлинга: «протянутые притесненными друг другу руки над пропастью — это руки, вытянутые над головами власти и строев, против власти и строев»¹².

В введении к книге Дравич подчеркивал, что для него было важным изменить отношение, перейти порог неприязни, вражды, отчуждения, отсутствия интереса. Он хотел доказать (что, собственно, уже делал ранее в *Приглашении в путешествие* (1977), *Споре о России* (1981) и *Еще Россия не погибла* (1988)), что «в жизненной позиции героических личностей, в лагерях, в изгнании, в глубокой изоляции»¹³ в России сохранилось человеческое начало. *Поцелуй на морозе* Дравич писал в иной, адекватной названию поэтике — это мемуарное, менее эссеистское повествование о чрезвычайно личном российском и советском опыте, о встречах с обычными и творческими людьми, друзьями, «очеловечивавшими Союз». С тем большей грустью звучало его признание в собственном бессилии, когда, будучи посвященным в «иную» Россию,

⁹ A. Drawicz: *Pocałunek na mrozie*..., с. 205.

¹⁰ Там же, с. 7.

¹¹ Там же, с. 8.

¹² G. Herling-Grudziński: *Księga krzywd*. В кн.: того же: *Upiory rewolucji*. Выбор и обработка Z. Kudelski. Lublin: Wydawnictwo FIS 1992, с. 230.

¹³ A. Drawicz: *Pocałunek na mrozie*..., с. 7.

прочитав в самиздате Солженицына, Гроссмана, Платонова, Надежду Мандельштам, Дравич не очень понимал, как может этот опыт использовать в Польше; «написать об этом официально не было возможности, а о самиздате можно было лишь мечтать. Русские — официально или подпольно — по сути, мало кому были интересны»¹⁴. С особой болью, хоть и не совсем соответствуя действительности, звучит последняя фраза из высказывания Дравича, в которой четко прослушивается горький диагноз польского *désintéressement* по отношению к России. О необоснованности этой жалобы лучше всего свидетельствует полный зал Аудиториум Максимум Варшавского университета во время выступления Дравича в рамках цикла лекций Общества научных курсов в 1981 году, когда он говорил об «иной» России. Я — в то время молодой студент польской филологии — был среди слушателей, а сама лекция существенным образом повлияла если не на всю мою жизнь, то совершенно определенно на выбор предмета научных исследований. В то же время, совершенно справедливо автор *Поцелуя на морозе* писал, что, предоставив возможность читать Гроссмана, Солженицына, Мандельштам, Россия «доверилась» ему, дав «лучшую часть себя»¹⁵. Поэтому вся дальнешая работа Дравича — плата за доверие. В его книге — замечательные портреты друзей: Домбровского, Трифонова, Зверева, Слуцкого, Бродского; воспоминания о встрече с Анной Ахматовой, а также с «добрыми вдовами» «счастливых» писателей — Еленой Булгаковой и Надеждой Мандельштам. Дравич увидел и понял в московских и ленинградских квартирах друзей, ставших «его Россией», что

[...] комплекс российских грехов по отношению к нам сублимируется в счет личной совести, ненаказанная вина становится на колени в акте раскаяния, пробуждая милосердие и тревогу... [...] Знаю лишь то, что мы осуждены друг на друга, а то, что мы сделаем с этим приговором, зависит и от них, и от нас¹⁶.

Поцелуем на морозе Дравич, как мне кажется, определял одно из наиболее важных направлений нашей рефлексии.

Герлинг-Грудзинский, будучи критично настроенным по отношению как к перестройке, называя ее «передышкой»¹⁷, так и по отношению к «герольду гласности» — так он с некоторым раздражением называл Дравича (в *Поцелуе на морозе* эссеист включил полные энтузиазма фельетоны из еженедельника «Тыгодник Повшехны», посвященные

¹⁴ Tamże, с. 64.

¹⁵ Tamże, с. 65.

¹⁶ Tamże, с. 128.

¹⁷ G. Herling-Grudziński: *Paskudna historia*. В кн.: того же: *Upiory rewolucji...*, с. 327.

горбачевским нововведениям), после прочтения книги Дравича написал, что Польша нуждается в глубокой рефлексии над польско-российскими отношениями, а не в «поцелуях на морозе». Впоследствии Герлинг-Грудзинский даже хотел усмотреть в данной метафоре «политическую доктрину»¹⁸. Возможно, он имел право на такое мнение, ибо его эмигрантская активность эссеиста была направлена на последовательную борьбу с последствиями ПНР-овского образования, отождествлявшего советский строй с народом и нивелировавшего разницу между палачами и жертвами. В эссе *Книга обид* Грудзинский саркастически заметил, что в тени «братской польско-советской дружбы» апофеоза достиг «традиционный антироссийский польский стереотип»¹⁹. Но ставить под сомнение значение *Поцелуя на морозе* он не должен, ибо эта книга — значительная, показывающая такой облик России, который хотел показать и сам Герлинг, переносящая Россию на уровень личного восприятия, доказывающая, что, будучи поляком, имея горький российский опыт, можно Россию полюбить и «заражать» этой любовью других. Нечто подобное, только в принципиально иной форме, делает Виктор Ворошильский в *Моих москвичах*²⁰, особенно в приложении к антологии, в котором нашлось место переведенным им самим стихотворениям на русском языке, а также портретам их авторов. Дравич приводит фрагмент мемуаров Александра Герцена — как раз из эссе Герлинга и в его переводе, в котором автор мемуаров *Былое и думы* рассказал о прощании с поляком, возвращавшимся на родину из ссылки. Обнимая Герцена, этот польский патриот сказал важные и жестокие слова: «Как жаль, что Вы — русский»²¹. Герцен понял, что это поколение не могло вернуть Польше независимость. Собственно, именно в книге Дравича я хотел бы видеть запоздалые угрызения польской совести и наши сожаления о грехах.

Размышляя о польских исследованиях польско-российских отношений, нельзя обойти вниманием данный аспект. Мы так и не смогли писать строго научно, *sine ira et studio*, так, как писали бы о португальцах или голландцах. Располагая всеми знаниями, мы не можем держать исследовательскую дистанцию, поскольку наши оценки имеют функцию ресентиментов, трудного опыта, разочарований и комплексов. Даже

¹⁸ G. Herling-Grudziński: *Dziennik pisany nocą 1993–1996*. Warszawa: Czytelnik 1998, с. 544.

¹⁹ G. Herling-Grudziński: *Księga krzywd...*, с. 230.

²⁰ W. Woroszyński: *Moi Moskale. Wybór przekładów z poezji rosyjskiej od Puszkina do Ratuszyńskiej*. Wrocław: Biuro Literackie 2007.

²¹ G. Herling-Grudziński: *Księga krzywd...*, с. 231; A. Drawicz: *Pocłunek na mrozie...*, с. 9.

если мы пытаемся понять данное явление, если стремимся подавить эмоции, то и так то, что выдавлено в область подсознательного, рано или поздно находит выход. Поэтому *Поцелуй на морозе* — книга важная, ибо акцентирует внимание именно на данном аспекте.

Что же случилось за последнюю четверть века, начатую «поцелуем на морозе» и завершенную метафорой «червивой мякоти Крыма»? Несколько десятков конференций, посвященных польско-российским отношениям (они были организованы и в Польше, и в России²²), в их числе — и очень важные. Несколько сотен докладов (иногда вызывающих раздражение повторением не только идентичных проблем и постулатов, но даже использованием похожих речевых оборотов), в том числе несколько десятков действительно замечательных очерков. Несколько необычайно важных книг. Как видно, исследовательская активность на польско-российской ниве воплотилась за последнюю четверть века в виде нескольких тысяч страниц текста, не только доказывающих, как глубоко, эффективно и необратимо — парафразируя посвященное Бродскому стихотворение Адама Загаевского — Россия вошла в польскую жизнь, польские мысли и стихи²³. Эти тысячи страниц доказывают также, как болезненно и императивно Россия сузила наши исследовательские горизонты, заставляя смотреть на себя. Эрупция данной проблематики доказывает, по сути, ошибочность суппозиции Дравича об отсутствии в Польше интереса к России. Автор *Поцелуя на морозе*, обескураженный кажущимся «омерзительным» безразличием соплеменников, забыл предостережение Высоцкого из *Варшавского салона* Мицкевича, что «наш народ, как лава», что «внутренний огонь», в который Россия постоянно подбрасывает поленья, «сто лет не погаснет». Ибо практически сразу после приведенных слов Дравича начали появляться работы, доказывающие, что тема эта по-прежнему животрепещущая, несмотря на все противодействие коммунистической цензуры. Работы писались специалистами, представляющими практически весь спектр гуманитарных наук, а также множество обществоведческих дисциплин. Среди этих работ доминируют литературоведческие, написанные полонистами, русистами,

²² *Поляки и русские в глазах друг друга*. Moskwa 1997; *Россия — Польша: филологический и историко-культурный дискурс*, Госуниверситет в Магнитогорске, ноябрь 2005; *Русская культура в польском восприятии*, Институт славяноведения Российской академии наук, Москва, ноябрь 2007; *Россия и Польша: долг памяти, право забвения*, Москва, октябрь 2009, Российская академия наук.

²³ В посвященном Иосифу Бродскому и стилизованном под *Большую элегию Джону Дону* Загаевский писал: «Россия входит в мою жизнь. / Россия входит в мои мысли, / Россия входит в мои стихи»; цит. по: А. Zagajewski: *Rosja wchodzi do Polski*, В кн.: того же: *Dzikiе czereśnie. Wybór wierszy*. Kraków: Wydawnictwo „Znak” 1992, с. 135.

славистами, компаративистами; немало статей написали языковеды и этнолингвисты, историки и историки идеи, религиоведы, философы и историки философии, филомеды; выступлениями отметились политологи, социологи, психологи, специалисты в области прессы, общественных и культурных связей. В конференциях участвовали не только известные интеллектуалы, но также политики и представители творческих профессий (Стефан Мэллер — министр иностранных дел, Тадеуш Слободзянк).

Рамки статьи не позволяют представить все важные книги и статьи, в связи с этим более подробно будут освещены лишь некоторые из них. В данной статье принят принцип компромисса между позволяющим проследить динамику проблемы хронологическим принципом и проблемным принципом, который, в свою очередь, позволяет показать достаточно широкий спектр аспектов польско-российских отношений в польской мысли.

* * *

Даже поверхностный обзор сборников конференций, в которых редакторы, правда, не всегда удачно, пытались сохранить паритет национального представительства, позволяет прийти к заключению, что углубленная рефлексия над польско-российскими отношениями требует наличия интердисциплинарных компетенций. Зачастую главная проблематика сосредоточена именно на диалоге культур. Заглавия или подзаглавия, указывающие на близость и диалогичность обеих культур, присутствуют в программах конференций, на обложках книг²⁴. Однако следует признать, что имеются и мнения исследователей, сводящиеся к «столкновению» польской и российской культур, а иногда даже цивилизаций²⁵. Главным образом, тем не менее, интерес исследователей сосредоточивается на взаимоотношениях культур в области литературы и кино. Существенное место заняла рецепция русской литературы и культуры в Польше и польской — в России. Особенным успехом пользовались, особенно в первые годы последней четверти века, исследования взаимных стереотипов и предрассудков, с чем связана была также рефлексия над местом России в польском общественном

²⁴ *Polska w Rosji — Rosja w Polsce: dialog kultur*. Ред. R. Paradowski, S. Ossowski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM 2003; *Polska-Rosja: dialog kultur: tom poświęcony pamięci Profesor Jeleny Cybienko*. «Studia Rossica» t. 22. Ред. A. Wołodzko-Butkiewicz, L. Łucewicz. Warszawa: Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego 2012.

²⁵ S. Ossowski: *Dialog czy zderzenie?* В кн.: *Polska w Rosji — Rosja w Polsce...*, с. 9.

сознании (и наоборот, хотя и несимметрично). Публиковались результаты анализа содержания прессы (в прошлом и настоящем), школьных учебников как основных источников закрепления стереотипа. Нередко подчеркиваемая разница в духовности обоих народов дополнялась рецептами построения хороших отношений.

В наиболее интересных, с моей точки зрения, литературоведческих работах доминируют интертекстуальные исследования, позволяющие увидеть поля активизации принципиальных отличий, выражения различных национальных философий, иного видения истории, иной антропологии, понимания власти и отношений в системе «власть–личность». Особенно выразительно подобная практика реализована в статьях и отдельных книгах, посвященных анализу польско-российских литературных дуэтов: Мицкевич–Пушкин, Норвид–Достоевский²⁶, Бжозовский–Достоевский²⁷, Герлинг–Достоевский²⁸, Ивашкевич–Толстой²⁹, Чапский–Розанов и Ремизов, Милош–Бродский³⁰, Стасюк–Ерофеев³¹. Подобная тенденция прослеживается в многочисленных текстах о России Адама Мицкевича, Юлиуша Словацкого, Зыгмунта Красинского, Юзефа Игнация Крашевского³², Станислава Бжозовского³³, Стефана Жеромского, Гюстава Герлинга–Грудзинского, Юзефа Чапского, Александра Вага, Юзефа и Станислава Мацкевичей, Чеслава Милоша, Ярослава Ивашкевича, Казимежа Брандыса, Анджея Стасюка, Эустахия Рыльского, Мариуша Вилька, в которых, кроме всего прочего, речь идет о влиянии, мотивах³⁴, образах, схожести сюжетных схем, творческого

²⁶ Ожидается публикация докторской диссертации Евангелины Скалинской *Норвид — Достоевский. Сближения и реконструкция*.

²⁷ О данном дуэте вышла книга, см. L. Jazukiewicz-Osełkowska: *Fiodor Dostojewski w twórczości Stanisława Brzozowskiego i Stefana Żeromskiego*. Warszawa: PWN 1980; в последние годы появились работы Эльжбеты Микицюк.

²⁸ T. Sucharski: *Dostojewski Herlinga-Grudzińskiego*. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2002.

²⁹ E. Sobol: *Jarosław Iwaszkiewicz i literatura rosyjska*. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2014.

³⁰ I. Grudzińska-Gross: *Miłosz i Brodski. Pole magnetyczne*. Вступление T. Venclova. Kraków: Wydawnictwo Znak 2007.

³¹ Кандидатская диссертация А. Стрыжковской *Постсовременная идентификация «Восточной Европы» в избранных произведениях Виктора Ерофеева и Анджея Стасюка*.

³² I. Węgrzyn: *Rosjanie Kraszewskiego — czarny stereotyp a rzeczywistość*. „Rocznik Komisji Historyczno-Literackiej”. R. 31/32 (1994/1995).

³³ W. Rydzewski: *Stanisława Brzozowskiego myślenie o Rosji*. В кн.: *Zagadnienie rosyjskie: myślenie o Rosji: oglądy i obrazy spraw rosyjskich*. Ред. М. Bohun, J. Goćkowski. Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia „Secesja” 2000.

³⁴ Российские мотивы в польской драматургии исследовала Д. Бухвальд: *Rusofilia?* „Dialog” 1999, nr 10, с. 127–133.

подхода, а также о значении России и ее литературы в творчестве польских писателей.

Раньше других появились работы, посвященные исследованиям польских и российских стереотипов во взаимном восприятии. Значение рефлексии над местом и ролью стереотипа в межэтнических отношениях заключается, в первую очередь, в том, что эти окостеневшие образы демонстрируют, скорее, склонности создающего их народа, нежели черты народа, описываемого стереотипом. Начало исследованиям стереотипов и их места в польско-российских отношениях положила в 1990 году книга Антония Кэмпинского *Лях и московит. Из истории стереотипа*. Два года спустя вышла более слабая книга — *Полячки и московиты: взаимное рассматривание в кривом зеркале (1800–1917)* Антония Гизы. Следует упомянуть и интересную работу Януша Тазбира *Московитин и лях: взаимное восприятие*³⁵. Кэмпинский пишет о «характерологическом синдроме поляков», проявляющемся в аллергии на Россию и русских³⁶, прослеживает «исторические предпосылки, культурные условия и способ артикуляции данного синдрома в диахроническом обзоре»³⁷. Исследователь соединяет формирование антирусского стереотипа на общем уровне с польской ксенофобией на более низком уровне, акцентирует внимание на специфических исторических условиях, определяющих это неприязненное, враждебное восприятие — взаимно агрессивную формулу познания соседа. Автор книги также показывает проникновение расхожего видения мира из фольклора в литературу, приводит многочисленные примеры неприязни, пренебрежения по отношению к московитам, отраженные в старопольской литературе. Все это позволяет заключать, что «в формировании образа России и русских в польской литературе [...] моделирующую роль сыграли традиционные элементы массового восприятия, подчиненные директивам кода национальной памяти»³⁸. Скульптурную работу по реконструкции эволюции российского мышления о Польше и поляках проделал Ян Орловский в книге с многом говорящим заглавием *Из истории антипольской одержимости в русской литературе*. Автор проследил истоки и извилистые пути этой одержимости, артикуляцию стереотипа поляка, начиная с древнерусской литературы и заканчивая прозой и поэзией периода Первой миро-

³⁵ Более ранняя публикация Януша Тазбира — *Московит в сарматском зеркале*. „Polityka” 1991, nr 48.

³⁶ A. Kępiński: *Lach i Moskal. Z dziejów stereotypu*. Warszawa–Kraków: PWN 1990, s. 17.

³⁷ Тамże, с. 18.

³⁸ Тамże, с. 22.

вой войны, когда были поколеблены основы существовавших прежде взглядов, «полных одержимости предубеждений»³⁹. В свою очередь, Тазбир сигнализировал несогласие в вопросе использования термина «стереотип», доказывая, что такое определение сначала предполагает «что-то неизменное», а также «существование синтетичного русского или поляка»⁴⁰. Исследователь изучил наиболее популярные и частотные литературные артикуляции как в польской, так и в русской литературах, указал на факт, что мнение обоих народов друг о друге, складывавшееся на протяжении столетий, достигло апогея формирования в период разделов Речи Посполитой — наименее благоприятный, с точки зрения объективности. Именно в этом причина доминанции негатива. Подводя итоги, Тазбир высказывал надежду, что в новое время, быть может, «образы обоих народов нормализуются, т.е. будут в большей степени соответствовать реальности, а не напоминать о многовековом раздоре»⁴¹. На сегодняшний день эта надежда оказалась напрасной. Следует также обратить внимание на статью Януша Мацеевского *Стереотип России и русских в польской литературе и общественном сознании* (текст был представлен впервые на конференции *Поляки и русские в глазах друг друга* в 1997 году в Москве). Автор включается в полемику с выводами вышеупомянутых исследователей, доказывая, что стереотип «не был неизменен, не был все время одинаков». Постоянные элементы находились в оппозиции «польской свободы и российской неволи, русского деспотизма и польского безвластия»⁴². Мацеевский подчеркнул, что польский негативный стереотип русского строился на примере Москвы, а не Великого Новгорода; если бы, однако, было иначе, «могло бы оказаться, что [русский] [...] необычайно похож на поляка». Автор высказывал надежду, что русские и поляки будут смотреть друг на друга без недомолвок⁴³. Константин Душенко в коротком эссе *Поляк и полька в глазах русских* не согласился с убеждением, что «взаимные стереотипы поляков и русских как в народном сознании, так и в текстах культуры были явно негативными»⁴⁴; он старался доказать, что «идеального соответствия стереотипов не было». Автор, немного

³⁹ J. Orłowski: *Z dziejów antypolskiej obsesji w literaturze rosyjskiej*. Warszawa: WSiP 1992, с. 214.

⁴⁰ J. Tazbir: *Moskwićin i Lach: wzajemne postrzeganie*. В кн.: того же: *W pogoni za Europą*. Warszawa: Wydawnictwo Sic! 1998, с. 119.

⁴¹ Там же, с. 138.

⁴² J. Maciejewski: *Stereotyp Rosji i Rosjanina w polskiej literaturze i świadomości społecznej*. „Więź” 1998, nr 2 (472), с. 185.

⁴³ Там же, с. 197.

⁴⁴ К. Duszenko: *Polak i Polka w oczach Rosjan*. В кн.: *Narody i stereotypy*. Ред. Т. Walas. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury 1995, с. 158.

вопреки выводам Островского, подчеркнул, что «поляки как этническая группа занимают в русском народном сознании скорее скромное место. Знаменателен факт, что поляк фактически не появляется в русских анекдотах этнической тематики»⁴⁵.

Книга Анжея Вежицкого *Грозные и великие* являет пример искусства сочетания рефлексий над попытками польской историографии XIX и XX веков выработать взгляд на «генезис и характер российского самодержавия» и описания процесса формирования стереотипа русского деспотизма. Автор подчеркивает, что стереотипу польского мышления о деспотичной России — и «белой», и «красной» — сопутствовало «чувство европейскости»⁴⁶, требовавшее изолироваться от «азиатского» варварства.

В группе работ о стереотипах следует обязательно вспомнить о тексте краковянина Яна Прокопа *Миф России в современной Польше*. Несколько ранее этот исследователь в эссе *Понять Россию* занялся образами России в творчестве Адама Мицкевича, Чеслава Милоша, Марка Хласки⁴⁷. Однако *Миф России* — текст куда более важный (впервые был представлен на симпозиуме в Кастель Гандольфо). Суть этого очерка Прокопа — в принципиально ином представлении проблемы. В отличие от предшественников, сосредоточивавшихся на прошлом, краковский исследователь занялся «эмоциональным, предрефлексивным образом-стереотипом восточного соседа в глазах поляков после 1989 года, особенно в кругах, подчеркивающих тесную связь с национальной традицией и католицизмом». Автор приводит опубликованную в «Газете Польской», «историю Польши в чрезвычайном сокращении» с целью доказать постоянное присутствие угрозы со стороны России — извечного врага:

966 — начало, 1772 — вошли русские, 1793 — вошли русские, 1795 — вошли русские, 1831 — русские вышли и вновь вошли, 1863 — русские вышли и вновь вошли, 1918 — русские вышли, 1920 — русские вошли и сразу же вышли, 1939 — русские вошли, 1944 — русские вошли, 1981 — предположительно, должны были войти (русские), 1992 — русские говорят, что скоро выйдут, 1993 — русские вышли, 1994 — русские говорят, что еще войдут, 1995 — русские говорят: «НАТО — придет время!» 1996 — русские придумали «коридор», чтобы было как войти⁴⁸.

⁴⁵ Тамże, с. 161.

⁴⁶ A. Wierzbicki: *Groźni i Wielcy. Polska myśl historyczna XIX i XX wieku wobec rosyjskiej despotii*. Warszawa: Wydawnictwo Sic! 2001, с. 7.

⁴⁷ J. Prokop: *Zrozumieć Rosję*. „Znak” 1990, № 2/3.

⁴⁸ J. Prokop: *Mit Rosji w dzisiejszej Polsce*. В кн.: *Współcześni Słowianie wobec własnych tradycji i mitów. Sympozjum w Castel Gandolfo 19–20 sierpnia 1996*. Ред. М. Bobrownicka, Л. Suchanek, Ф. Ziejka. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas” 1997, с. 189.

На лицо — триумф «демонизированного мифа-стереотипа, отождествляющего российскость и советскость под общим понятием имперской идеи, всегда угрожавшей существованию польского народа», хотя в данном случае — в виде «конфронтации скорее этносов, чем идей и ценностей». То есть, это противопоставление «народа-обидчика (русских — не атеистичного коммунизма!) народу обиженному (полякам)», «Империи Зла — Царству Света». Ян Прокоп завершает очерк на грустной ноте — цитатой мечты одного поляка, принадлежащего к национально-католическим кругам: «Я бы хотел, чтобы их [русских] не было»⁴⁹. На этом фоне слова Герценовского ссыльного сармата кажутся почти приятными. Размышления над образом наших главных соседей найти можно также в книге *Образ немцев и русских в современной польской литературе: ренессанс* под редакцией Тадеуша Блажеевского и Хайнца Кнайпа⁵⁰.

В ряд размышлений над стереотипами следует включить и этнолингвистические исследования Ежи Бартминского, Ирины Лаппо, Уршули Майер-Барановской, посвященные способам профилирования стереотипа россиянина в современном польском языке. В заключении работы авторы предлагают четыре сложившихся польских точки зрения. Первая — взгляд простого человека, которому нравится народный профиль россиянина как «брата-врага», включающего и славянскую близость, и русскую душу, и азиатчину, агрессию и рабство. Вторая — взгляд патриота: профиль русского как захватчика. Третья — взгляд интеллигента, которому соответствует профиль друга-московита — мыслящего, культурного, чувствительного. Четвертая — взгляд европрагматика, которому соответствует профиль русского как партнера, европейца⁵¹. Интересную попытку реконструкции процесса формирования польского образа русских на основе польских источников, начиная с времен Ивана Грозного и заканчивая правлением Николая II представила в книге *Москвитин — московит — россиянин в частных документах* Александра Невяра. Она также высказывает оптимистическое предположение, что, возможно, время «принесет польской культуре новые черты портрета россиянина, а интерпретация старых черт пойдет в непредвиденном, но, возможно, более познавательном, нежели аффективно окрашенном, направлении»⁵².

⁴⁹ Тамże, с. 193.

⁵⁰ *Wizerunek Niemca i Rosjanina we współczesnej literaturze polskiej: rekonesans*. Ред. Т. Бłażejowski, Н. Kneip. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2006.

⁵¹ J. Bartmiński, I. Lappo, U. Majer-Baranowska: *Stereotypu Rosjanina i jego profilowania we współczesnej polszczyźnie*. „Etnolingwistyka” 14, Lublin 2002, с. 145.

⁵² А. Niewiara: *Moskwiczin — Moskal — Rosjanin w dokumentach prywatnych. Portret*. Łódź: Ibidem 2006, с. 163.

Книга Невяры завершает образ россиянина как «прототипного врага» Польши с эпохи заката империи Романовых. Своеобразное продолжение данных исследований, правда, на другом материале, можно найти в работе Эвы Погоновской *Дикие бесы* (2002). Здесь предпринята попытка отследить образ Советской России, представлений о ней в польской поэзии 1917–1932 годов. Исследование этой литературы важно хотя бы потому, что это был первый на протяжении более чем ста лет период свободной артикуляции в отечественной изящной словесности польского мышления и видения России. Погоновска убедительно доказывает, что поэты, а чаще «стихослагатели» межвоенных лет в большинстве случаев пользовались относительно постоянным комплексом общественных представлений о русских и России как давних врагах всего польского⁵³. Антибольшевизм межвоенного периода стал, собственно, новым вариантом польской русофобии; принципиальной качественной разницы между дореволюционным русским и советским русским в то время не видели. В 2012 году Погоновска издала очередную, на первый взгляд, похожую на предыдущую, книгу — *Чтение Новой России*. Однако, она отличается, причем, не только аналитическим материалом (на этот раз в центре внимания исследователя — многочисленные польские репортажи из «страны пятилеток»), но и охваченным временным отрезком — на этот раз речь идет о 1930-х годах. Поэтому данная книга — не просто обычное продолжение более ранних размышлений. В ней представлен очередной этап польского познания «совдепии» — так называли в то время СССР. В 1930-е годы польские путешественники получили, наконец, возможность приехать в СССР, встретиться «лицом к лицу» со страной сталинской индустриализации и начинавшегося террора. Автор сосредоточилась на трех акцентированных польскими репортерами компонентах «советского Сфинкса»: «доктрине, человеке и пространстве»⁵⁴. Осознавая отличие современной перспективы, несравнимо большие знания, по сравнению с межвоенным периодом, исследователь подчеркивает в заключении, что «путешественники-поляки как свидетели времени и места» оставили после себя «определенную частичную правду, над которой следует задуматься»⁵⁵.

⁵³ E. Pogonowska: *Dzikie biesy. Wizja Rosji Sowieckiej w anty bolszewickiej poezji polskiej lat 1917–1932*. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2002, с. 239.

⁵⁴ E. Pogonowska: *Czytanie Nowej Rosji. Polskie spotkania ze Związkiem Sowieckim lat trzydziestych XX wieku*. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2012, с. 21.

⁵⁵ Там же, с. 428. Несколько лет раньше был издан том, содержащий фрагменты книг-записей с междвоенных путешествий в «страну пролетариата»: J. Kochanowski: *Spojrzenie na Rosję*. Warszawa: Warszawska Oficyna Wydawnicza „Gryf” 1994.

Появившаяся в межвоенные годы польская рефлексия над советской системой в научной, а не публицистической версии, оказалась в центре исследовательской деятельности Марка Корната. Он блестяще проанализировал новаторские попытки польских советологов, от которых западные исследователи приняли эстафету лишь в послевоенное время. В масштабной 2-томной монографии *Большевизм. Тоталитаризм. Революция. Россия. Начало советологии и изучения тоталитарных систем в Польше (1918–1939)*⁵⁶ Марек Корнат убедительно указал на оригинальность и глубину польской мысли. Подобные размышления практически одновременно с Корнатом опубликовал Гжегож Зацкевич в работе *Польская политическая мысль о советской системе*⁵⁷.

Своеобразным «ответом» на разнообразие работ о стереотипах стала необычайно важная книга *Поляки и россияне. 100 ключевых понятий*. В отличие от большинства публикаций, ее целью было показать то, «что объединяет»⁵⁸, книга стала попыткой воспротивиться стереотипам — не только анахроничным, но и вредным для обеих сторон. В введении к сборнику работ о «ключевых понятиях» Агнешка Магдзяк подчеркнула, что поляки со своей подозрительностью по отношению к России начинают быть подозрительными для Запада, а россияне, игнорирующие поляков и пренебрегающие Польшей, не видят принципиального изменения места Польши в Европе. В качестве примера «смены мышления, изменившей губительные приговоры стереотипов»⁵⁹ редактор сборника приводит немцев и французов, а также поляков и немцев. Редактор ожидает подобных изменений и в польско-российских отношениях. Книга, по определению, должна была предложить читателю необходимые знания, поскольку плохие отношения являются результатом отсутствия информации друг о друге и использования мифов и стереотипов, «воспринимаемых как догма» и распространяемых «в ночных разговорах родных». С этой целью в книге нашел отражение широчайший спектр проблем: от «амбивалентности соседства», включающей проблемы языка, взаимоприсутствие в литературе и исторической мысли, искусстве, далее — трудные вопросы истории, государства, империи, народа, и заканчивая попытками отразить идейный посыл книги — «что нас объединяет». На страницах

⁵⁶ M. Kornat: *Bolszewizm. Totalitaryzm. Rewolucja. Rosja. Początki sowietologii i studiów nad systemami totalitarnymi w Polsce (1918–1939)*. T. I. Kraków: „Księgarnia Akademicka” 2003; T. II: Kraków: „Księgarnia Akademicka” 2004.

⁵⁷ G. Zackiewicz в книге *Polska myśl polityczna wobec systemu radzieckiego*. Kraków: „Arcana” 2004.

⁵⁸ *Polacy i Rosjanie. 100 kluczowych pojęć*. Ред. А. Магдзяк-Мисзевска, М. Зучниак, Р. Ковал. Warszawa: Biblioteka „Więzi” 2002, с. 7.

⁵⁹ Там же.

издания появляется постулат о необходимости переступить через барьер мариологии и страдания, из чего вытекает предложение написать историю большого успеха польских ученых в России XIX и XX веков. Однако, следует сказать, что авторы книги — выдающиеся польские и российские интеллектуалы — лишь в незначительной степени оправдали ожидания редакторов, поскольку в издании доминируют скорее работы об накопленном столетиями опыте, определившем польско-российские отношения.

В одно время с исследованиями стереотипов появились работы о польско-российских отношениях в XIX веке, имеющие необычайно важное значение, особенно в контексте фундаментальной роли этого исторического периода в процессе формирования польского общественного мнения. В начале 1990-х Юзеф Бахуж опубликовал очерк *Об образах славян в польской литературе романтизма*, несколько позже гданьский исследователь расширил временные рамки своей рефлексии на весь XIX век в статье *Россиянин в Словаре польской литературы XIX века*⁶⁰ (к сожалению, такой статьи нет в *Словаре польской литературы XX века*). В обеих публикациях ученый подчеркнул существенную (в контексте потери Польшей независимости) на рубеже XVIII и XIX веков проблему, отягощающую польское сознание: разрыв между ненавистью к враждебной державе — главному вершителю зла, и симпатией к братскому славянскому народу. Польская мысль в преддверии эпохи романтизма пробовала, компенсируя политический крах, потерю независимости, справиться со следующей проблемой: у какого из двух крупнейших славянских народов должна быть миссия лидера. После подавления ноябрьского восстания на первый план вышли другие вопросы. Бахуж акцентирует внимание на существенном достижении романтизма, внесшего более всего в польское понимание России, ибо позволившего разделить царскую Россию и русский национальных дух. Лучшее всего это выразил Мицкевич во *Вступлении к Дедам, часть III*⁶¹. Итак, романтики ввели в польское восприятие осознание существования «двух» России, значительно активизировавшееся в следующем столетии. Царизм — система, базирующаяся на лжи, насилии, грабеже. Его могущество, по мнению Мицкевича, строится на пришлое, не русском, элементе — частично азиатском, монгольском, но прежде всего, немецком. Бахуж подчеркивает, что «царизм сочетает азиатскую

⁶⁰ *Słownik literatury polskiej XIX wieku*. Ред. J. Bachórz i A. Kowalczykowa. Wrocław–Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich 2002.

⁶¹ Zob. J. Bachórz: *O obrazach Słowian w polskiej literaturze romantycznej*. В кн.: *W świecie literatury romantycznej*. Ред. W. Magnuszewski. Zielona Góra: Wydawnictwo WSP w Zielonej Górze 1991, с. 265–266.

жестокость и пренебрежение людьми с элементами отлаженной прусско-немецкой организационной махины, а также французской роскоши и распущенности нравов»⁶². Итак, царизм — не Россия, царский деспотизм опирается на немцев и французов. Поляки отвергают российское государство, ищут взаимопонимания с братским славянским русским народом. Ученый также указывает, что поражение декабристов, позволило Мицкевичу — свидетелю событий — понять: «героизм Рылеевых и Бестужевых — более труден, чем отвага поляков»⁶³. При дальнейшем обзоре образа России в польской литературе 2-й половины XIX века Бахуж подчеркивает, что русские или представляются крайне негативно (прежде всего, Крашевский, который также осознает существование «двух России») — как «патологический продукт царизма, разлагающего это общество»⁶⁴, — или вообще не представляются. Необычным для польской прозы критического реализма, подчеркивает исследователь, является фактическое отсутствие русских на страницах произведений. Польские писатели, за исключением Пруса (*Кукла*), как бы бойкотируют действительность, не желают замечать присутствия российских чиновников, полицейских. Бахуж обращает также внимание на случаи оспаривания читателями политической лояльности, в результате чего Юзеф Коженевский создал позитивные образы россиян, близкие Мицкевическому Рыкову. Исследователей литературы 2-й половины XIX века интриговала также проблема антипольской одержимости Федора Достоевского — крупнейшего российского писателя. Ученые обращались к начатым еще в межвоенные годы поискам ответа на вопрос, почему образы поляков в его произведениях так однозначно негативны. Об этом писал и Марэк Вэдэманн⁶⁵, и Яцек Углик.

Собственно, творчество всех крупных писателей-романтиков было исследовано на предмет места в ней России. Фактически, на протяжении всего XX века (но также и ранее), появлялись публикации о многосторонних связях Мицкевича с Россией. За минувшие с 1989 года 25 лет несколько работ по этой тематике опубликовал русист Богуслав Муха⁶⁶; Богуслав Допарт опубликовал работу *Россия в поэтическом творчес-*

⁶² J. Bachórz: *O obrazach Słowian...*, с. 265–266.

⁶³ J. Bachórz: *Rosjanin*. В кн.: *Słownik literatury polskiej XIX wieku...*, с. 846.

⁶⁴ Там же, с. 847.

⁶⁵ M. Wedemann: *Polonofil czy polakożerca? Fiodor Dostojewski w piśmiennictwie polskim lat 1847–1897*. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2010.

⁶⁶ B. Mucha: *Rosjanki w życiu Adama Mickiewicza*. Katowice: Śląsk 1994; того же: *Adam Mickiewicz czasów emigracji i Rosjanie*. Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego 1997; того же: *W kręgu „przyjaciół Moskali”*. *Adam Mickiewicz i księżna Zinaida Wołkońska*. „Pamiętnik Literacki” 1993, z. 1.

тве Адама Мицкевича⁶⁷, Ежи Фецько — *Россия в парижских лекциях Мицкевича*⁶⁸. Однако важнейшие работы касаются *Вступления III части Дедов* — несомненно, прав был Чеслав Милош, написав в *Родной Европе*, что эта «поэма Мицкевича — с у м м а польского отношения к России»⁶⁹. Писал о *Вступлении* Рышард Пшыбыльский в очерке *Изгнание в Вавилон* — заключительной части книги *Слово и мышление героя поляков*. Пшыбыльский выдвинул тезис, что в *Дедах* депортация евреев в Вавилон — «метафора забирая польской молодежи в Россию»⁷⁰. Особое значение в размышлениях над поэмой Мицкевича имеет очерк Зофии Стефановской *Россия во Вступлении к III части «Дедов»*. Автор считает, что главной темой данного произведения является империя Николая I — могущественная держава. Это тема, «которая возмущает, но и восхищает»⁷¹. Сведение во *Вступлении* России до Петербурга, к тому же, удивительным образом лишённого православного колорита, позволило автору очерка выдвинуть предположение, что целью Мицкевича было доказать, что в России не хватает «родной русской культуры», «всех проявлений исконного искусства, что все куплено [...], совсем ничего из глубинных потребностей народа»⁷². Особенно выразительной становится эта тенденция в сравнении описаний Петербурга в *Письмах из России* маркиза де Кюстина. Стефановска также упрекнула исследователей творчества Мицкевича в игнорировании множества российских аспектов *Вступления*, получившего в отечественной культуре статус произведения-итога. Весомой попыткой восполнить эти пробелы стало эссе Марты Зелинской *Вступление III части «Дедов» и его русский контекст*, опубликованное в книге *Поляки. Русские. Романтизм*. В этом эссе автор попыталась доказать, до какой степени текст Мицкевича „был вплетен в российские мысль и традицию, являя собой первое масштабное романтическое обобщение, и, вместе с тем, проекцию дальнейших свершений»⁷³. Книга Зелинской значима также

⁶⁷ B. Dopart: *Rosja w twórczości poetyckiej Adama Mickiewicza*. „Ruch Literacki” 1998, z. 3.

⁶⁸ J. Fiećko: *Rosja w prelekcjach paryskich Mickiewicza*. В кн.: *Księga Mickiewiczowska: patronowi uczelni w dwusetną rocznicę urodzin 1798–1998*. Ред. Z. Trojanowiczowa, Z. Przychodniak. Poznań: Wydawnictwo. Naukowe UAM 1998.

⁶⁹ C. Miłosz: *Rodzinną Europą*. Warszawa: Czytelnik 1990, с. 138.

⁷⁰ R. Przybylski: *Słowo i milczenie bohatera Polaków. Studium o „Dziadach”*. Warszawa: 1993.

⁷¹ Z. Stefanowska: *Rosja w Ustępie III części „Dziadów”*. В кн.: *W krainie pamiątek. Prace ofiarowane Profesorowi Bogdanowi Zakrzewskiemu*. Ред. J. Kolbuszewski. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej 1996, с. 141.

⁷² Там же, с. 145.

⁷³ M. Zielińska: *Ustęp III części „Dziadów” i jego rosyjskie konteksty*. В кн.: той же: *Polacy. Rosjanie. Romantyzm*. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 1998, с. 119. О черной

с точки зрения формулирования важных исследовательских постулатов о роли России в мысли создателя *Дедов*. Одним из важнейших есть обобщение всей полноты «российского опыта Мицкевича», во всем своем творчестве в эмиграции из России пытавшегося «сконструировать для поляков альтернативную духовную модель, [...] способную противостоять врагу»⁷⁴. Это имело фундаментальное значение для Мицкевича, опасавшегося того, что поляки перестанут бороться с российской духовной доминацией, распространявшейся «от жертвенного героизма бунтарей до покорности, равной покорности Иова, от святого трепета перед царской божественностью до безграничного отрицания всех ценностей»⁷⁵. Зелинская также высказалась за всесторонний анализ места и значения Мицкевича в русской литературе. Как подчеркивает исследователь, следует заострить внимание на факте, что Пророк «сблизил — как никто — наши культуры, но одновременно разделил их». В результате отношение к России «варьируется меж восхищенным ужасом и пренебрежительным осуждением»⁷⁶. Проведение подобных исследований — до сих пор не реализованных — позволит определить принципиальную разницу между польской и российской духовностью.

К размышлениям о значении России во *Вступлении* к III части *Дедов* более молодые литературоведы (Малгожата Зэмла, Збигнев Казмерчик, Ежи Фецько) часто добавляют анализ многочисленных «русских» текстов Чеслава Милоша. В очерке *Милош, Мицкевич, Россия* Зэмла утверждает, что важнейшим прекурсором эссе *Россия* автора *Угнетенного разума* является именно *Вступление*. Исследователь, однако, отмечает, что Милош пытается уравновесить открыто антироссийскую «классическую» (с польской перспективы) парадигму «поляк — жертва, Россия — угнетатель», указывая гностические корни русской культуры, что позволяет выйти за границы непремиримой поляризации позиций поляков и русских. Так или иначе, важнейшим на сегодняшний день текстом, посвященном многоаспектной проблеме Милош — Россия, стала работа Марка Корната. В блистательном вступлении ко второму тому *Трансокеанских видений* Милоша Корнат убедительно показал отражение «проклятой проблемы» в письмах польского поэта с межвоенных лет до начала XXI века. Один из важнейших выводов — Милош, критично относящийся к «российской цивилизации», но ценящий

легенде Петербурга в трудах Мицкевича см.: G. Michalak: *Profecja w tekście „Ustępu” III cz. „Dziadów” a mit Petersburga*. „Pamiętnik Literacki” 1990, z. 3.

⁷⁴ M. Zielińska: *Od Autorki*. В кн.: *Polacy. Rosjanie. Romantyzm...*, с. 6.

⁷⁵ Там же.

⁷⁶ Там же, с. 8.

русскую культуру, «выражал убеждение, что Россия и ее имперское присутствие особенным образом обуславливает “экзистенциальную ситуацию поляка”»⁷⁷.

О значении России в творчестве Словацкого размышляет в книге *Царь-труп и Король-дух* Эльжбета Кисляк. Литературовед обращается к оригинальному подходу создателя *Кордиана* к решению российской проблемы, к индивидуальной интерпретации истории, заостряет внимание на метаморфозе России в видении и мышлении поэта, начиная с вытекающего из романтической историософии свободы отрицания российского самодержавия, одержимости царизма и замыкания России в его истории, и заканчивая реинтерпретацией истории России, рассказом о традициях русских республик и «вписанием России в славянский мир»⁷⁸. Однако более всего внимания польские исследователи уделили России «третьего пророка» Зыгмунта Красинского. В книге Анджея Фабиановского *Политическая мысль Зыгмунта Красинского*⁷⁹ есть глава *Россия*, в которой на первый план выходит историзофическая концепция поэта, подчеркнута связь между деспотизмом и революционным террором. Здесь же — очерки Анджея Новака, Петра Хлебовского, Яна Орловского, Адама Безвинского⁸⁰, наконец, Ежи Фецько. Венцом исследований последнего стала монография *Россия Красинского. Дело о непримирении*. Автор выдвигает новаторский тезис о том, что в мировоззрении создателя *Не-божественной комедии* российский вопрос занимает ключевое место. Фецько подчеркивает, что «польско-российскому антагонизму [Красинский] приписывал исключительное значение в плане истории Европы»⁸¹. Возможно, благодаря этому «среди замечательных писателей своей эпохи [Красинский] разработал согласованное, наиболее цельное, манихейское видение “северного

⁷⁷ M. Kornat: *Czesława Miłosza spotkania z Rosją*. В кн.: С. Miłosz: *Rosja. Widzenia transoceaniczne*. Т. II. *Mosty napowietrzne*. Выбор и подготовка В. Toruńczyk. При соучастии М. Wójciak, М. Nowak-Rogoziański. Warszawa: Zeszyty Literacki 2011, с. 45.

⁷⁸ E. Kiślak: *Car-trup i Król-Duch. Rosja w twórczości Słowackiego*. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 1991, с. 9.

⁷⁹ A. Fabianowski: *Mysł polityczna Zygmunta Krasińskiego*. Ciechanów: Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe 1991.

⁸⁰ A. Nowak в: того же: *Jak rozbić rosyjskie imperium*. P. Chlebowski: *Krasiński wobec Rosji*. В кн.: *Zygmunt Krasiński — nowe spojrzenia*. Ред. G. Halkiewicz-Sojak, В. Burdziej, Toruń 2001; J. Orłowski: *Krasiński a idea panslawizmu*. В кн.: *Wydalony z Parnasu. Księga poświęcona pamięci Zygmunta Krasińskiego*. Ред. J. Świdziński. Poznań: UAM 2003; A. Bezwiński: *Rosja w pismach politycznych Zygmunta Krasińskiego*; J. Fiećko: *Rosja Krasińskiego. Szkic problemu*, «Poznańskie Studia Polonistyczne» 1998; того же: *Obraz Rosji we «francuskich» memorialach politycznych*. В кн.: *Obrazy Wschodu w kulturze polskiej*. Ред. G. Kotlarski, М. Figura. Poznań: UAM 1999.

⁸¹ J. Fiećko: *Rosja Krasińskiego. Rzecz o nieprzejednaniu*. Poznań: UAM 2005, с. 25.

колосса”»⁸². По мнению ученого, польский романтик демонстрировал наиболее непримиримую позицию по отношению к России, акцентировал противоречия в предназначении Польши — символа свободы — и России, бывшей в его концепции историческим инструментом Сатаны.

* * *

Особое место в рефлексии над интересом исследователей к польско-российским связям занимает — не только в последнюю четверть века, но и, возможно, за все время существования двусторонних отношений — объемный интердисциплинарный исследовательский проект *Взаимные предрассудки между поляками и россиянами* как результат «культурного программирования». Проект реализовывался на протяжении всей первой декады XX века, а его результаты были оформлены в ряде важных публикаций. Несколько ранее были опубликованы первые тома триязычных *Идей в России*, целью которых была попытка — вопреки Тютчеву — понятия России умом. Во вступлении ко второму тому Анджей де Лазари говорил о важности восприятия понятий и категорий так, как это свойственно исследуемой культуре, а не исследователю. Де Лазари не столько предостерегал, сколько предвидел последствия использования неадекватных критериев, справедливо считая, что мы «ведем разговор, не являющийся диалогом, поскольку понимаем лишь себя, забывая о партнере»⁸³. *Ideii в России* — а сегодня уже вышло девять томов — можно сказать, дают польским ученым необходимый инструментарий для исследования культурной запрограммированности россиян — это условие *sine qua non* серьезного размышления над сложными польско-российскими отношениями и взаимными предрассудками. Начало проекту положили изданные в виде книги материалы интернет-дискуссии. Затем вышел том *Польская и русская души. Современный взгляд*⁸⁴, в котором были опубликованы работы об исторической детерминанте польско-российских образов в литературе. Кроме того, в томе нашлось место рефлексиям о присутствии стереотипов в массовой культуре обоих народов, их формировании и поддержке со стороны школьных учебников, а также размышлениям о месте предрассудков

⁸² Tamże, с. 448.

⁸³ A. de Lazari: *Zamiast wstępu*. В кн.: *Ideii в Roscii. Ideas in Russia. Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski*. Ред. А. de Lazari. Łódź: Wydawnictwo Ibidem 1999, с. 6.

⁸⁴ *Dusza polska i rosyjska. Spojrzenie współczesne*. Ред. А. de Lazari i R. Bäckera. Łódź: Wydawnictwo Ibidem 2003.

и стереотипов в политике обеих стран. Элла и Иван Задорожниковы представили во всех смыслах достойный постулат — начало публикации *Идей в Польше* по примеру *Идей в России*⁸⁵.

Две следующих публикации проекта — *Души польская и русская (от Адама Мицкевича и Александра Пушкина до Чеслава Милоша и Александра Солженицына)* — антологии на польском и русском языках. Тексты подобраны по принципу отражения категории «души народа», к которой редактор тома подходит весьма сдержанно и которую воспринимает как миф. Кроме того, были подобраны тексты, в которых «сосуществовали бы: 1) чувство “инности” или частичной миссийности по отношению к другим культурам, а также 2) взаимные претензии поляков и русских»⁸⁶. Начинают и завершают антологию несомненные «пророки» — важнейшие польские и российские деятели культуры XIX и XX веков, упомянутые в заглавии. Присутствуют в антологии и другие писатели и философы, в чьих текстах видна попытка углубленного понимания «души» обоих народов — как то: Бронислав Трентовский, Николай Страхов, Константин Леонтьев, Владимир Соловьев, Винцент Лютославский, Станислав Бжозовский, Николай Бердяев, Марьян Здоховский, Ян Парандовский, Георгий Федотов, Феликс Конечный, Богумил Ясиновский, Николай Трубецкой, Николай Лосский, а также Виктор Ерофеев и Наталья Горбаневская.

Интердисциплинарный проект включает также социологический и психологический анализ. Результаты этих исследований вкупе с очередными очерками о культурном программировании были опубликованы в двуязычном томе *Поляки и русские. Побеждая предубеждения*⁸⁷. Венцом проекта стал *Каталог взаимных предубеждений поляков и россиян* — том интердисциплинарный, как и все предыдущие. В этом томе опубликованы синтетические работы о польско-российских отношениях — в обеих литературах (Тадеуш Сухарский, Дмитрий Пичугин), в кино (Эльжбета Островска и Адам Вышинский, Василий Токарев), в исторической мысли (Рафал Стобецкий, Владимир Кутявин), в философии (Михал Богун, Александр Липатов), в религиозной мысли (Эльжбета Пшибыл, Яков Кротов, бенедиктинец Петр Пшесмыцкий). Кроме того, в томе — размышления Анджея де Лазари и Януша Добешевского о предрассудках, а также очерк Александры Невяры о конструировании образа «иноного».

⁸⁵ E. i I. Zadorożniuk: *Dusza polska i rosyjska. Spojrzenie współczesne*. Ред. А. de Lazari, R. Bäcker, Łódź 2003, с. 159.

⁸⁶ *Dusza polska i rosyjska (od Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina do Czesława Miłosza i Aleksandra Solżenicyna. Materiały do „katalogu” wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan*. Ред. А. de Lazari. Warszawa: Wydawnictwo PISM 2004, с. 16.

⁸⁷ *Polacy i Rosjanie. Przewyciężanie uprzedzeń. Поляки и русские. Преодоление предрассудков*. Ред. А. de Lazari i T. Rongińskiej. Łódź: Wydawnictwo Ibidem 2006.

Главная цель книги — объяснение россиянам и полякам, почему именно такой их образ отражается в литературе, фильме, исторической, философской и религиозной мысли, в стереотипах. Существенным оказался факт, что тщательный анализ не подтвердил бесспорных аксиом — выяснилось, что в художественных произведениях, особенно высокого уровня — нашли отражения принципиально отличные от стереотипных образы русских и поляков. Новаторством книги, упрощением для читателя стало выделение за счет шрифта ключевых для наших культур понятий, категорий, исторических событий, персоналий. Анджей де Лазари в заключительной части введения написал: «Выражаем надежду, что осознание взаимных предубеждений вызовет положительное действие на польско-российские отношения в сфере политики, экономики, религии и культуры — через понимание к соглашению»⁸⁸. В приложении к тому — на компакт-диске — дана библиография.

В рамках проекта издана также уже упомянутая книга Александры Невяры *Москвитин — москвит — россиянин в частных документах*, а также важная работа Юстины Курчак, Марьяна Броды и Пшемислава Вайнгертнера *Коммунизм в России и его польские интерпретации*. Юстина Курчак в разделе *Российский коммунизм в перспективе польской философской мысли* представила взгляды Марьяна Здоховского, Флориана Знанецкого, Богумила Ясиновского, Лешека Колаковского и Анджея Валицкого. Вайнгертнер рассмотрел российский коммунизм через призму общественно-политической и исторической мысли, представив воззрения Романа Дмовского, Юзефа Пилсудского, Владимежа Бончковского, Станислава Цат-Мацкевича, Адама Цёлкоша, Юзефа Мацкевича, Яна Кухажевского. Марьян Брода размышляет над «связями большевизма и большевистского государства с дореволюционным прошлым и культурной, общественной, политической, духовной, религиозной и идеологической традициями этой страны»⁸⁹.

* * *

Явлением в области гуманитарных дисциплин первой декады XXI века, несомненно, стала книга *Странное славянство* Марии Янион, вызвавшая широкий резонанс, значительно выходящий за рамки обычно

⁸⁸ *Katalog wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan*. Ред. А. de Lazari. Warszawa: Wydawnictwo PISM 2006, с. 27.

⁸⁹ М. Broda: *Mentalność, tradycja kulturowo-polityczna i bolszewickie doświadczenia Rosji*. В кн.: М. Broda, J. Kurczak, P. Waintgertner: *Komunizm w Rosji i jego polskie interpretacje*. Łódź: Ibidem 2006, с. 145.

герметичного круга восприятия. Стоит посвятить некоторое внимание данной книге, поскольку одна из ее центральных проблем — проблема польско-российских отношений. Автору не интересна Россия сама по себе — интерес вызывает именно польский образ России, являющийся проверкой существования, живучести славянской и постколониальной травмы, обуславливающей современную русофобию. Янион категорично утверждает, что пришло время освободить польскую точку зрения от предубеждений касательно русофобии или, что реже, русофилии. Простого ответа на вопрос, как это сделать, нет, да и быть не может — вместо него появляются размышления над, вероятно, являющимися, по мнению автора, главными текстами о польской России конца XX века — *Империя* Рышарда Капусцинского и *Волчий блокнот* и *Волока* Мариуша Вилька.

Уже упоминалось, что, по мнению Янион, «польская самоидентификация достигается благодаря представлению России как иного — не совсем стоящего, но опасного». Подход, который Янион, вслед за Саидом, называет ориентализующим взглядом, доминировал в военных и послевоенных записях польского опыта в русско-советской действительности. «Ориентализированные» Западом польские писатели «ориентализировали» Восток — главным образом это проявилось в убеждении относительно его абсолютной цивилизационной ущербности. Анализируя образ России в польской литературе последних лет, Янион сосредоточивается на двух альтернативных формулах описания, экземплифицирующих «имперские» репортажи Капусцинского и «волчьи» наброски Мариуша Вилька. В обоих случаях явственно слышится вопрос о том, как писать о России. И если оценке книг Вилька сопутствует энтузиазм, то в случае *Империи* тон ученого куда более сдержан. Янион не нравится «кюстинизация» России, имманентным элементом которой является статус рассказчика-пришельца «оттуда». Автор *Странного славянства*, по всей видимости, хочет доказать, что взгляд на российский (российско-советский) мир должен исходить из двойной польской — славянской и колониальной — укорененности в нем. Поляки не могут смотреть на российский мир иначе, ибо иначе утратят аутентичность.

Янион не скрывает энтузиазма, оценивая репортажи и российские дневники Мариуша Вилька — и это несмотря на то, что в них в существующий образ России не внесено ничего существенно нового. Мария Янион подчеркивает, что «роль Вилька в польской культуре нельзя переоценить»⁹⁰ — речь идет о значении в вопросе выхода польской культуры из искусственных рамок «иности», из западного переулка

⁹⁰ M. Janion: *Niesamowita Słowiańszczyzna...*, с. 241.

и вхождения в славянское сообщество. Размышления Марии Янион о «польской» России заставляют задать фундаментальные вопросы: можно ли вообще реализовать на практике подход Вилька — «смотреть на Россию глазами русского»? Возможна ли полная смена ориентации сознания, можно ли контролировать подсознание? И не будет ли результатом данного подхода утрата кондиции польского писателя? Лучшим подтверждением последнего являются сомнения автора *Волчьего блокнота*: «все чаще ощущаю, что я — русский писатель, пишущий по-польски»⁹¹? Что важнее: русское познание России или понимание ограничений в польском описании России, а также попыток выйти за рамки этих ограничений? Что даст нам русская Россия или Россия «вечная», универсальная? Не достаточно ли прочесть Гоголя и Салтыкова-Щедрина, Достоевского и Чехова, или имеющих тоталитарный опыт Солженицына и Ерофеева? Собственно, поляку не достаточно. Милош совершенно определенно доказывал, что «поляки знают о россиянах то, что россияне знают о самих себе, не желая в этом признаваться»⁹². И если даже в этих словах четко просматривается высокомерие «кичливого ляха», то сложно подвергать сомнению — это подчеркивает и Мария Янион — «существование некой эмоциональной, глубоко укорененной связи, основанной на славянском родстве»⁹³. Именно родстве, а не сознании! И для нас, и для русских важна именно Россия, пропущенная через польский фильтр, — чужая, хоть и близкая, по крови и языку почти своя, но культурно и ментально далекая. Россия, увиденная и понята благодаря трансграничной кондиции и ассимилятивным способностям. Подобным образом, русским (если бы они этого хотели), как и нам, важна Польша, увиденная через призму русскости. При условии, что это видение не будет искажено травматичным взглядом с позиции собственного превосходства — с одной стороны, мотивированной западной культурой, с другой, — имперской ностальгией. Но в обоих случаях детерминированной сильным защитным механизмом и колониальным синдромом. Нужно вслушаться в наши родственные, хоть и разные, голоса, ибо благодаря этому мы в состоянии услышать и увидеть больше. И осознать себя в родственном, хоть и отличном, естестве.

Нельзя обойти вниманием важную книгу Анджея Валицкого *Россия, католицизм и польское дело*, в которой проанализированы письма российских мыслителей — славянофилов и западников, православных и католиков — посвященные вызову католицизма, в их сознании тесно

⁹¹ Там же, с. 248.

⁹² Там же.

⁹³ М. Janion: *Niesamowita Słowiańszczyzna...*, с. 192.

связанного с польскостью. Итак, именно российский спор о католицизме позволяет историку идеи углубленно осмыслить значение польской проблемы для россиян, увидеть в ней не только политический аспект, но и цивилизационный, религиозный, историософический аспекты, важные «для понимания сложной истории формирования русского национального сознания»⁹⁴. Благодаря этому можно утверждать, что видение исторической миссии России Герцена является ответом на мессианизм Мицкевича. Валицкий также пробует показать универсальную тоску России, пробует убедить поляков, объединяющих ее (как подчеркивает с сожалением исследователь) с имперской историей, что в ней крылись куда более глубокие историософические перспективы. С этой точки зрения книга становится очередным голосом в деле отказа от негативных стереотипов.

* * *

И еще несколько слов о собственно исторических работах. Сразу после окончания коммунистического правления, в 1991 году, была опубликована книга *Россия и Польша* предвоенного историка Владимежа Дзвонковского, сотрудника Шимона Аскенази. Эта работа стала увертюрой исторических публикаций, посвященной проблематике сложных польско-российских отношений. Вскоро появились книги Збигнева Опацкого. Сначала была *Русская Варвария. Россия в историографии и политической мысли Хенрика Каменского* (1993), затем — монография об одном из крупнейших польских россиеведов и специалистов в области польско-российских отношений начала XX века, Марьяне Здзеховском — *В кругу Польши, России и славянства. Общественно-политическая мысль и деятельность Марьяны Здзеховского до 1914 г.* (1996). В 1995 году вышла книга Войцеха Карпинского *Польша и Россия. Из истории славянского спора*. Ее автор предпринял смелую попытку показать «образ России и польско-российских отношений в работах польских мыслителей XIX века, искавших какой-либо шанс найти общий язык или достичь понимания между двумя обществами в период формирования современного политического и общественного сознания, т.е., в 1831–1871 годах»⁹⁵: Хенрика Жевуского, Адама Гуровского, Александра Велёпольского и Хенрика Каменского. Каждый

⁹⁴ A. Walicki: *Rosja, katolicyzm i sprawa polska*. Warszawa: Prószyński i S-ka 2002, с. 10.

⁹⁵ W. Karpiński: *Polska a Rosja. Z dziejów słowiańskiego sporu*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1994, с. 5.

из них имел свою концепцию польско-российских отношений; как подчеркивает Карпинский, их программы были в диапазоне между отчаянием и надеждой. Это были мыслители, предвосхитившие появление польских социалистов, которые поставили вопрос двусторонних отношений на принципиально иной уровень.

Оба автора обращаются к одному и тому же герою — Хенрыку Каменскому, автору чрезвычайно важного произведения *Россия и Европа. Польша. Вступление к исследованиям России и москвитов*, вновь опубликованному в конце XX века. О Каменском писали также Бронислав Лаговский и Анджей Новак, крупнейший польский историк последних лет, занимающийся польско-российской проблематикой. О его работах следует сказать отдельно. В книге *Как разбить российскую империю* ученый представляет концепции Адама Чарторийского, Зыгмунта Красинского, Хенрика Каменского и Юзефа Пилсудского. В их трудах, по мнению автора, показаны важнейшие дилеммы польской восточной политики, а также — следует добавить — каждого поляка, серьезно относящегося к польско-российским отношениям. Следует привести данный мини-каталог вопросов: «может ли Россия быть “спасена”?», «можно ли найти в ее лице партнера, готового отказаться от деспотично-невольничьей имперской традиции?», «можно ли связывать надежды Польши [...] с “иной”, “новой” Россией? Есть ли лишь одна Россия, неизменная с этой [...] точки зрения», вечная, всегда верная своей имперской миссии вне зависимости от того, “белая” она или “красная”»⁹⁶. Несколько ранее краковский ученый опубликовал книгу *Между царем и революцией. Этюды политического воображения и отношения Великой эмиграции к России (1831–1849)*. Значение этой книги видится, прежде всего, в поднятии проблемы России, которой была одержима эмиграция после восстания 1830–1831 годов, сумевшая эту проблему «влиянием своего, прежде всего, литературного достояния передать последующим поколениям». И, наконец, последняя — огромная со всех точек зрения — книга *Польша и три России. Наброски восточной политики Юзефа Пилсудского (до апреля 1920 года)*, у истоков которой — попытки ответить на вопрос об ответственности Пилсудского за победу большевиков. Три России — «белая», «красная» и «третья» — ни белая, ни красная, которую пробовали создать при помощи Начальника независимого Польского государства Борис Савенков, Дмитрий Мержковский и Зинаида Гиппиус.

⁹⁶ А. Nowak: *Jak rozbić rosyjskie imperium? Idee polskiej polityki wschodniej (1733–1921)*. Warszawa: Wydawnictwo „Gryf” 1995, с. 7.

* * *

Проведенный здесь обзор (конечно, весьма поверхностный), несомненно, доказывает, насколько внезапно Россия (на протяжении столетий постоянно присутствовавшая и в польской поэзии, и в польской мысли) появилась в нашей гуманистической рефлексии, свободной от коммунистической цензуры. Он также свидетельствует, насколько сильна была потребность возникновения научного дискурса, посвященного польско-российским отношениям, освобожденного от попыток управлять и (или) затыкать рты на протяжении почти полувека. Ученые необычайно скупуплезно присмотрелись к образу России и россиян, проанализировали их место в польском общественном сознании (и подсознании), отраженном в литературе, стереотипах, кино, языке; изучили исторические процессы; предприняли поиски даже в областях, казавшихся свободными от присутствия России. Чтение этих работ может позволить констатировать некую одержимую зависимость польской гуманистической рефлексии последней четверти века от России. Можно уверенно утверждать, что это не так, однако нельзя приуменьшить, особенно на фоне Германии (второго из польских «угнетателей»), её абсолютно фундаментального значения. Историко-политические аргументы всего не объясняют. Несомненно, откликаются здесь и ужас, и восхищение, и этническая близость, и ментальная чуждость. Но также и надежда на освобождение от необходимости решения «проклятой проблемы», условием чего является отказ от стереотипов и установление новых — добрососедских и партнерских — отношений между Польшей и Россией.

Перевод с польского Dzmityry Kliabanau

Tadeusz Sucharski

OD „POCAŁUNKU NA MROZIE” PO „ROBACZYWY MIAŹSZ KRYMU”,
CZYLI RELACJE POLSKO-ROSYJSKIE W POLSKIEJ REFLEKSJI
HUMANISTYCZNEJ OSTATNIEGO ĆWIERĆWIECZA

Streszczenie

Celem szkicu jest zaprezentowanie najważniejszych osiągnięć polskiej refleksji humanistycznej poświęconej relacjom polsko-rosyjskim po upadku komunizmu. W centrum uwagi znalazły się prace literaturoznawcze, ale również językoznawcze, historyczne, socjologiczne. Dzięki temu możliwe stało się ukazanie w miarę pełnego spektrum polskiej refleksji o wzajemnych stosunkach z Rosją. Duża liczba książek, opracowań, artykułów dowodzi niezwykłej istotności problemu dawniej marginalizowanego przez komunistyczną cenzurę. Problematyka refleksji nad relacjami polsko-rosyjskimi ogniskowała się często

wokół dialogu kultur. Szczególnym powodzeniem cieszyły się badania nad wzajemnymi stereotypami, poszukiwanie źródeł wzajemnych uprzedzeń, nad miejscem Rosji w polskiej świadomości zbiorowej. Podkreślanym zazwyczaj różnicom w duchowości obu narodów towarzyszyły nierzadko recepty na dobre stosunki.

Jednym z głównych wyznaczników polskiej refleksji stało się pragnienie pokazania ludzkiego oblicza Rosji, której towarzyszyła nadzieja bliskich relacji z Rosją i Rosjanami. W początkach rozpadu porządku pojałtańskiego owo pragnienie zdawało się mieć swoje poważne uzasadnienie. U licznych autorów powraca koncepcja „innej” Rosji. Pojawia się ona już w pracach poświęconych literaturze XIX wieku, apogeum osiągając w refleksji nad polskim piśmiennictwem powojennym, emigracyjnym. Właśnie w tych pracach szczególnie silnie wyartykułowana została potrzeba przezwyciężenia tendencji do utożsamiania ustroju sowieckiego z narodem rosyjskim, do zacierania różnicy między oprawcami i ofiarami.

Tadeusz Sucharski

FROM “THE KISS IN THE COLD” FOR “GRUBBY PULP OF CRIMEA”,
OR THE POLISH-RUSSIAN RELATIONS IN THE POLISH HUMANITIES
OF THE LAST QUARTER

Summary

The aim of the present work is to show the most important achievements of the Polish humanities devoted to Polish-Russian relations disclosed in the era after the fall of communism. The main attention was focused on literary works, but in the perspective of the research were also the work of linguistic, historical, and sociological. As a result, it became possible to show the full spectrum of the Polish reflection devoted to relations with Russia. A large number of books, studies, articles proves the extraordinary significance of the problem prohibited by the communist authorities for years. The issue of the reflection on Polish-Russian relations was often focused on the dialogue of cultures. The research on mutual stereotypes, the searching for sources of mutual prejudices, the importance of Russia in the Polish collective consciousness have proved particularly successful. The researchers emphasized the differences in the spirituality of the two nations, but they suggested the need of the development of good relations between the two nations.

The reading of many works proves that the desire to show the human face of Russia, the hope of close relations with Russia and Russians was one of the main determinants of Polish reflection. The concept of „other” Russia returns in the works of many authors. It appears already in the works on literature nineteenth century, reaching its apogee in the reflection on the Polish references postwar exile. It appeared already in the works devoted to the Polish romantic literature, but it reached its apogee in the reflection on the post-war Polish literature, especially on the émigré literature. The need to overcome the tendency to identify the Soviet regime with the Russian nation, the tendency to blur the distinction between oppressors and victims was particularly strongly articulated in these works.